

Александр СИЛИНСКИЙ

*село Тарногский Городок,**Вологодская область***ЖИВЁТ ДЕРЕВНЯ!***рассказы***ПОСЕЛЕНЕЦ**

Настроение у Николая Павловича Зуева было не очень. А если прямо сказать — паршивое настроение. Бессонная ночь в душном купе вагона оставила на его лице заметный след хмурой озлобленности. «Что это за правила установили: продавать билеты в одно купе мужикам и бабам, при этом совершенно не знакомым?» — мысленно возмущался он. Вот сподобил же леший ехать ему с тремя женщинами. Дамы подобрались фигуристые, с пышными породными формами. Купе тесное. Задел он ненароком одну коленом за заднюю округлость, а та и застреляла глазками призывно и многообещающе. Конфуз, да и только. Женщины быстро перезнакомились, и понеслась бабья говорильня без умолку на всю ночь. Николай забрался на верхнюю полку, хотел вздремнуть, да разве уснёшь под эту сорочью трескотню с ахами, охами на все лады и под переборы луженых глоток. Ложку дёгтя в его настроение добавил и тот факт, что, как оказалось, автобусного сообщения от железнодорожной станции до райцентра уже года три как не существует. Пришлось нанимать частника, который запросил за услугу две тысячи рублей — для Зуева почти стоимость железнодорожного билета от Питера до его станции назначения.

Так получилось, что Николай Павлович не был на своей малой родине, где пуповину резали, лет пять. Последний раз приезжал на похороны отца Павла Флегонтовича — Паши Зуенка, как называли его в деревне. А в позапрошлый год без него, Николая, спровадили в последний путь и мать его Клавдию Петровну. Сестра звонила, поносила последними словами: «Почему, паршивец неблагодарный, на похороны не приехал?» Пришлось соврать, что, мол, был за границей в то время, от завода посылали. За границей-то он и правда был, только никто его туда не посылал. Жена выправила загранпаспорта да и уговорила слетать на недельку в Турцию. Так что, когда мать помирала, он нежился на белом песочке, грел пузо под ласковым забугорным солнцем. Стыдно и горько. Собирался на сорочины съездить, да в больницу со спиной угодил. Потом как-то всё завертелось, закрутилось. А нынешней зимой Николая Павловича вывели на заслуженный отдых. Пенсию, по его разумению, по нынешним

временам положили неплохую. Да и то сказать: без малого сорок годков отпахал сварщиком на судостроительном заводе. По такому случаю в трёхкомнатной питерской квартире Зуевых собралась родня: сын с невесткой, дочь с зятем, внучата. Стали уговаривать да отправлять, вместе с женой и внуками, разумеется, в Индию. Говорят: тамошние индусские костоправы чудеса творят, вмиг спину вылечат.

— Ну уж нет! — громогласно рубанул воздух Николай Павлович. — В деревню поедem на всё лето.

— Ни за какие коврижки в твою дыру не поеду и внуков не пушу! — отрезала жена.

У Николая, а впрочем, и у всех зуенков, как называли их односельчане, характер был упёртый, что задумают — бульдозером не своротишь. Но и у Катьки, жены его, тоже под стать. Спорить с ней всё равно что воду в ступе толочь.

— Ну, и зуй с вами, поеду один!

— Давай, давай! Можешь насовсем уматывать в свою деревню! — сказала жена.

— Может, и насовсем, — уже спокойно ответил Николай.

В последние годы в его голове часто вспыхивали как-то ясно и зримо картинки из деревенского детства. То он голозадым пацанёнком бежит по тёплым после летней грозы лужам (по-деревенски — лягам), то сено обваживает на норовистой взметной кобыле Вийке, то помогает отцу брёвна корить для сруба под новую баню. И какая-то виновато-ноющая перчинка всё жгла его изнутри, и, как перелётную птицу, что-то звало, манило туда, к деревенскому крылечку. Двадцатилетним юнцом оторвался он от родительского дома и лишь набегам, наскоками навещал его. Бывало, ведёт он сварочный шов по стальному листу корпуса будущего корабля, и вдруг автогенной искоркой залетит мыслишка: «Вот выйду на пенсию. Чего в городе делать? Пиво тянуть с мужиками? В телевизор пялиться? На даче и без него управленцев хватает. А что — дача? Тот же городской муравейник: домишко к домишку впритык...» Жене не говорил, но решил почти твёрдо: остаток дней, сколько отпущено, будет жить в деревне. Отец учил: «Ты, Миколка, сначала думай, задумал — пробуй, а потом уж окончательное решение принимай».

Вот и едет Николай Павлович в деревню, чтобы без «почти» решиться на задуманное.

На автобусной остановке райцентра было немногочисленно. Парочка длинноногих девиц прогуливалась по заасфальтированной площадке, смачно пережевывая жвачку и искусно цыкая слюной сквозь зубы. Неказистого вида мужичок, куривший сидя на дощатом ящике, угрюмо, но с интересом наблюдал за ними. Три женщины на единственной скамейке бурно обсуждали нынешние «сумасшедшие» цены, содержимое своих и чужих кошельков, ну и прогуливающих девиц заодно.

К расположенному неподалёку коммерческому магазину «Фреон» (комку — по современной терминологии) подъезжали иногда на иномарке молодые люди в экипировке, претендующей на одевание рокеров из американских фильмов. Правда, доморощенная «самостийность» бросалась в глаза сразу, и это их одевание под западных мальчиков выглядело жалко, уродливо и глупо, как, впрочем, и не в меру размалеванные лица девиц, и яркая вывеска комка.

На изуродованной штакетной ограде висел рюкзак внушительных размеров. Его хозяин стоял рядом и разговаривал с белокурым в промасленной куртке парнем. Облик и одежда хозяина рюкзака выдавали в нем городского жителя, возможно, отпускника и уроженца здешних краев. От него тянуло стойким запахом одеколона. И было заметно, как он иногда презрительно морщил свой благородно посаженный над аккуратными усиками нос, когда этот его городской одеколонный запах перебивал другой — налетающий из дощатого туалета. Говорят, сии заведения появились в общественных местах в шестидесятые годы по прямому указанию незабвенного Никиты Сергеевича Хрущева. Как бы там ни было, а вещь, прямо скажем, необходимая. Скольким страждущим помогла выйти из щекотливого положения! А сколько карикатуристов вдохновляла!

Вот и тутошний туалет, а вернее сказать, грубо сколоченная уборная, представлял, в отличие от обшитого новеньким сайдингом здания автостанции, вид убогий и пугающий. И даже не очень брезгливые сельские жители заходили в него с опаской.

Николай Павлович зашёл внутрь автостанции,

но ни кассы, ни какого-либо объявления по поводу автобусов не обнаружил. На одной из дверей висел рекламный плакат «Салон Натали. Стрижём. Бреем. Красим». На второй — «Ритуальные услуги. Быстро. Качественно. Надёжно». Вышел наружу, спросил у женщин:

— А что, ходят ли нынче рейсовые автобусы до Верхнего Погоста?

— Накрылись рейсовые медным тазом, частники нынче извозом занимаются, — сказала одна из них, внимательно глядя в лицо Николая.

— А ты не Паши ли Зуенка парень?

— Ну да, Павла Флегонтовича сын, — вызывающе ответил он. Деревенское прозвище отца, произнесённое женщиной, неприятно царапнуло его самолюбие.

— Колька, ты чего, не узнал меня, что ли? Райка я, на два класса младше в школе училась. А автобус в четыре часа будет...

— Спасибо, — буркнул Николай и пошёл к ограде, спиной чувствуя, как бабьи языки повернули перебирать его косточки.

Выбрав место посуше, поставил сумки, облокотился на штaketник. Апрельское солнышко припекало, распластавшись во всю ширь безоблачных небес. В небольшой лужице на асфальте, весело чирикавая, плескались воробьи. На крыше автостанции таяла прямо на глазах кучка грязного снега. Крупные капли влаги, последний раз преломив солнечные лучи в яркие искорки, падали с крыши в прошлое. В придорожной канаве бурлил ручей, унося следы долгой зимней жизни районного городка. Лёгкий ветерок лужгал разбухшие почки привокзальных тополей, кидая на асфальт их клейкую шелуху. На вершинах сосен недалекого бора суматошно горланили грачи, по весне самые крикливые из всех пернатых. Лоснящаяся влажная земля за оградой парила, как только что вынутый из печки ржаной пирог. Кое-где уже проклюнулись, словно цыплята, цветки мать-и-мачехи. Апрель, пожалуй, самый весёлый месяц года: всё бурлит, клочечет, пенится, оживает...

К автовокзалу снова подкатила иномарка. Из открытого окна лимузина под бухающие звуки музыки выплеснулось задорно и нахально: «Задеру я Ленке голые коленки...»

— Тыфу ты, чёрт! — чертыхнулся Николай. — Придумают же.

Подъехал автобус — старенький пазик. Николай подошёл к дверце водителя, спросил:

— Вы — на Верхний Погост?

— Ага, — кивнул шофёр.

Пассажиров оказалось немного. Кроме него, Николая, уже знакомая Райка, две молоденьких девчухи и парень в промасленной куртке.

— Все, что ли? — спросил водитель.

— Все, Виталий, все, — ответила за всех пассажиров Райка. — Поехали с богом.

— Ну, поехали. Одна морока с вами, никакой выгоды, на бензин и то не хватит, — пробурчал Виталий.

— Так ты накинь маленько — не обеднеем. Куды же мы без тебя-то, кормилец наш?

— Накинь, накинь... — ворчал водитель. — Сама же потом и заорёшь, что дорого.

— Не-е, — протянула Райка. — Был бы у меня мужик с машиной... — при этом она обернулась и стрельнула глазами в Николая, как та дама в купе вагона. — Так сам знаешь: два года уж как нет моего Мишеньки. — Женщина прослезилась и вытерла кончиком платка глаза.

Только выехали за пределы райцентра, автобус начало подбрасывать и покидывать из стороны в сторону, прямо как на американских горках. «Да, ничего не изменилось», — подумал Николай. И вспомнил, как ехал на тракторной телеге в военкомат на призывную комиссию. На полпути до райцентра, местечко так и называется — Половинщик, колесник зарылся в густую грязь по самую кабину. Тракторист стал рубить ёлки, подкладывая их под колеса, но бесполезно. Выручил тогда гусеничный ДТ, предусмотрительно посланный председателем колхоза вдогонку.

«А вот, кажется, и он — Половинщик», — Николай узнал знакомую местность.

Автобус остановился.

— Граждане пассажиры, держитесь крепче! — объявил водитель.

Впереди было сплошное месиво из грязи в разводах жёлто-рыжей пены. Мотор взревел, как застоявшийся бык, выпущенный в коровье стадо. Автобус нырнул в грязевую бездну так, что лобовые стекла захлестнуло серой мутью. С сиденья, где сидела Райка, туго набитая сумка слетела и покатила по проходу.

— Яйца! Яйца! — закричала женщина.

Метров через двадцать на более-менее ровном участке дороги автобус остановился.

— Ты чего, Раиса, сбрендила? Какие яйца? Может, чего другое прищемила? — водитель разразился громким смехом.

— Да ну тебя! Две решетки яиц купила, — она стала проверять содержимое сумки. — Слава богу, целы.

— Тебе чего, в нашем магазине яиц мало или райцентровские вкуснее?

— Свежее, да и по цене дешевле. Ты давай езжай, чего встал-то?

— Так из одного птичника-то. Ладно, поехали, курица-наседка! — снова засмеялся Виталий.

Наконец автобус вынырнул с лесной просеки на полево́й простор, пробуксовывая, взобрался на горюшку, с которой открылся вид на Верхний Погост и на деревушки, разбросанные по угорам без всякого, казалось, порядка, словно неведомая рука бросила горстью домишки: какой где упал — тот там и стоит.

Вон за речкой просигналила на миг отблесками вечерней зари в окнах и его, Николая, родная деревня. В официальных бумагах — Зуевка, а по-народному — Пустошка. Зуевка — понятно, почти каждый житель носил фамилию Зуев. А вот Пустошка? По этому поводу бытовала в деревне такая версия: в давние-давние времена бежала вверх по речке на лодках ватага новгородских ушкуйников с их атаманом именем Зуй, стали они лагерем в этом месте, и больно уж понравился атаману залитый солнцем весёлый угор. Сказал он: «Не бывать сему месту пусту». Вот и Пустошка. Хотя кто его знает, почему так прозвали деревню...

«Пять лет назад семь из двадцати домов были жилые, сейчас и того, наверно, меньше. Пустеют деревни, превращаются в пустошки», — грустно подумал Николай Павлович. Вспомнил недавно прочитанное где-то: «В России каждый месяц исчезает чуть ли не по одной деревне. Постоянно увеличивается количество заброшенных сельских населённых пунктов с небольшим числом жителей. И через сто, а то и меньше лет наша страна может вообще остаться без деревень. Россия — страна умирающих деревень».

— Всё, граждане пассажиры, конечная станция. Платим за проезд, и всем до свидания! — объявил водитель.

Автобус остановился у магазина. Ещё через ок-

но Николай увидел сестру, стоящую на крыльце сельмага в синем фартуке и колпаке, едва державшемся на рыжей копне волос. Нинка работала продавцом и жила с семьёй на Погосте в колхозной квартире.

— Брательник, родненький! — бросилась обниматься она, как только Николай вышел из автобуса. — Наконец-то! Что ж ты, зараза такой, долго не приезжал-то? Убить тебя мало!

— Ну вот, обласкала. Здравствуй, сестрёнка. — Николай улыбнулся, вытирая ладонью слёзы с её щёк.

— Мы бы на машине встретили, да мой-то с утра до ночи в лесу, делянку дорубают, да и дорога сам видел какая.

— Да ничего, всё нормально, Нина, доехал...

— А я избу-то протопила. Ключи над воротами. А может, сегодня у нас заночуешь?

— Не, Нина, я — домой.

— Ну, ладно. Бельё-то на кровати чистое постелила, если чего — в шкафу найдёшь. Из еды в холодильник кое-чего положила, да и в печь загляни.

— Нин, да у меня с собой всё есть...

— Ну, чай не на день и приехал, успеешь своё-то и потом. Отдыхай с дороги, завтра уж на кладбище сходим, проведем родителей. Маме я уж и памятник поставила. Баню-то не топи, печь развалилась, да и угол осел. К нам придёшь в субботу. А когда суббота-то? Так завтра и есть, — спохватилась сестра.

— Нин! А, Нин, запиши чекушку, — несмело подёргал за руку сестру мужичок небольшого роста с синюшным лицом, с табачным и ещё каким-то приторно кислым запахом.

— Отцепись! Ты и так больше тысячи должен. — Нинка отдёргнула руку. Мужичок покачнулся, заперебирал ногами, но устоял на них. — У-у! Алкоголики, достали!

— Нина, ну я пойду, — сказал Николай Павлович.

— Иди, Коленька. Наволок-то ещё не затопило, там вон за склад-то завернёшь и — по тропинке.

— Да знаю я...

— Да и к деду Тимофею зайди, он про тебя много раз спрашивал, родня всё-таки.

Нинка пошла в магазин. Следом поплёлся мужичок, канюча:

— Нин, ну будь человеком, запиши.

До Зуевки от Верхнего Погоста, если по прямой через наволоку, по лаве, — с полкилометра. В обход, через мост, — километра полтора.

Река клекотала, выплескивалась из берегов, шумела, растекалась по наволоку, заполняла ложбинки, качала ноздреватую грязно-синюю льдину в старице. Незатопленными оставались небольшие островки суши, по которым бежала тропинка к родной деревне Николая. Вот-вот, и вода захлестнёт её. Прервётся, исчезнет связующая нить с большой землей. Стайка куличков-турухтанчиков справляла у среза воды свою птичью свадьбу. Нарядные кавалеры, распушив веером воротники, вытанцовывали вокруг дам в невзрачном сереньком оперении. Ни к чему им роскошные наряды: не они — их выбирают. Пи-галицы, а клов воротят, копаются. Хочешь понравиться — ходи гоголем, изворачивайся, покажи себя, выверни наизнанку всю свою птичью душу и перья. По одежке нынче встречают. Где-то среди затопленных кустов ивы слышалось призывное криканье селезня. Над головой парочка чибисов — «татарские воронки» по-народному — выписывала неровные воздушные пируэты, оклика: «Чьи вы, чьи вы?»

— Да свои вроде, тутошние, — усмехнулся Николай.

Наволоку этот называется Луковатка. Река огибаёт его с трёх сторон в виде древнерусского лука. Сметливые были предки, виртуозные в определениях. Название ручья, речки, лесного урочища, прозвище человека прилепят — тут уж ни убавить ни прибавить, в самую, как говорится, точку.

Николай вспомнил, как пацанёнком обваживал сено на этом наволоке. Запряг он тогда норовистую кобылу Вийку, которая недавно ожеребилась. Тонконогий жеребёнок не отставал от матери, всё время топтался около неё, тыкался, пока нагружались дровни сеном, в кобыльи титьки. А тут как-то оказался на другом берегу старицы, растерялся и голос подал. Вийка взметнулась и понеслась к нему прямо через старицу вплавь. Хорошо, дровни были не загружены. Ох, и натерпелся Николай тогда страху!

Заскрипел, закачался под ногами дощатый настил лавы, подвешенный на железные крюки к стальным тросам. Под ним шумел с пугающей силой и мощью речной поток. На сере-

дине реки проплывающая огромная коряга царапнула своими шупальцами доски. Да, день-два — и не только наволоку, но и лаву может захлестнуть полая вода.

Ну, вот и родительский дом. Николай нащупал ключи, отпер навесной замок. В избе-зимовке было тепло и пахло... пирогами. Закатное солнце заглянуло на прощание воспалёнными красными глазами в окна, прокатилось зайчиками по домотканым пестрым половикам и исчезло. Николай задёрнул занавески. Щелкнул выключателем. Прошёл на кухню. На шестке печи на противне красовался его любимый пирог с брусничкой.

— Ах, сестрёнка! — вырвалось у Николая. — Ай да Нинка! А ведь не сказала, сюрприз устроила!

Николай открыл печную заслонку, снял крышку с закопчённого чугунка, из печи потянуло сытным ароматным запахом наваристых мясных щей.

— Ай да сестра!

После последнего его приезда в избе практически ничего не изменилось: старомодный сервант с посудой, шкаф под бельё, за занавеской — широкая деревянная кровать, стол на резных ножках, лавки вдоль стен, диван у опечек, в закутке за русской печью — умывальник. На не оклеенных гладко выструганных стенах портреты родственников в простеньких рамках. Вот мать с отцом... Николай вдруг физически ощутил их пристальные с укором взгляды на себе.

— Прости меня, мама, прости, — не смея взглянуть в глаза матери на портрете, прошептал. — И ты, батя, прости.

До чего же они похожи с отцом: высокий лоб с глубокими залысинами, сросшиеся брови, нос чуть с горбинкой, оттопыренные уши, тонкие губы, подбородок с ямочкой и кадык. У отца на портрете он прямо вывалился за ворот рубашки — острый, как петушиное колено.

Уже за полночь, а Николаю Павловичу не спится. Деревенская тишина аж звенит в ушах. Банально, но верно подмечено. Дом живёт своей ночной жизнью: вдруг что-то прошуршит за печкой, скрипнут половицы, охнет что-то на чердаке. Он, как живое существо, то ли сердится, что потревожили его покой, то ли радуется — дождался хозяина. Дом без хозяина что телега без лошади. Повесят замок в пробой, заколотят окна досками — осиротеет деревенская изба, два-три

года — и поведёт половицы, заскрипят жалостливо, угол подсядет, крылечко скособенится, калитка с петель слетит. А уж крапива да чертополох вмиг заполонят огород.

Николай Павлович слушал ночные звуки, разные мысли толклись в голове, как комары перед дождём, перескакивали с прошлого в настоящее. Хотел ухватить главное, но оно, как верёвка, смазанная соли-домом, выскальзывало, не давалось. Он злился и пытался сосредоточиться, определиться. Решение, принятое в городе, пробуксовывало, как колёса автобуса на размытой грязью дороге.

Всю жизнь Николай прожил в городской сутолоке. Дети — то лагерь, то секция какая — заняты были в городской повседневности. В деревню раз пять поди-ко и съездили. Выросли на асфальте. Пока их на ноги поднимал, работал — всё крутилось с утра до вечера своим чередом. Дом, завод, дача, пьяная компания с друзьями по выходным. Очнуться, поразмыслить не было времени. На судьбу грех жаловаться, неплохо сложилась, всё вроде ладно. Но где-то внутри нет-нет да и режёт, словно железом по стеклу: вот как бы повернулась его жизнь, остался он дома, в деревне?

Разбудило Николая Павловича громкое карканье ворон за окном. Глянул на ходики — шесть часов. Накинув старенький ватник, вышел на крыльцо. Карканье доносилось с верхушки пушистого кедра. Никак гнездо устраивают разбойницы? Этот кедр Николай самолично сажал, когда учился в восьмом классе: стащил саженец из питомника местного лесничества. Эдакий теперь вымахал!

Николай хлопнул в ладоши — испуганные птицы улетели.

С крыльца открывался вид на реку, над которой одна за другой исчезали небольшие белые заплатки утреннего тумана. Заречный наволок затопила полая вода, лишь два островка земли ещё сопротивлялись весеннему потоку. На них копошились чайки и кулики. Стайки уток плавали на широкой речной глади. Дощатый настил лавы почти касался воды.

Щедрое солнце, не встречая преграды, дарило живительные лучи пробуждающейся весенней земле. Где-то на середине деревни сверкала ярко крытая белым железом крыша дома. Прокричал петух. Тявкнула собака.

Живёт деревня!

КАПКАНЫ

Колины бабушка Марина Ивановна и дед Василий Иванович живут в небольшой деревеньке со странным названием Пустошка. Они ещё совсем не старые, считает Коля, потому что держат и корову, и кур, и поросёнка. Только у деда, по выражению бабушки, «стала совсем дырявая память». И вот что странно: события, которые происходили давным-давно, когда Коли и на свете-то не было, дед помнит отлично и любит рассказывать внуку о делах минувших. А вот то, что было совсем недавно, порой забывает подчистую.

Почти каждый месяц Колины родители получают из Пустошки посылки. Среди банок с соленьями всегда находится мешочек с паренцей — сушёной морковью. Это для Коли подарок от бабушки. Обедение!

В первый раз Коля один без родителей приехал на зимние каникулы погостить в деревню.

Сегодня он проснулся раньше обычного. На кухне, в кути, уже горит свет. Шаркают, словно сердятся, чугуны на шестке. Бабушка задвигает ухватом их в печь. Дед сидит на печи и, закатав кальсоны выше колен, яростно чешет икры. Ноги у него чёрные, словно обугленные поленья, кожа шелушится. Колька знает: это потому, что дедушка был на войне и на каком-то лесосплаве. Из окон струится бледно-синий холод. Колька с головой накрывается одеялом, но, как ни крепись, вылезать из-под него надо: туалет находится на улице.

Когда он вместе с клубами морозного пара влетает в комнату, под бабушкиным ватником, накинутым на плечи, ещё остается тепло. Колька забирается под одеяло.

— Что, Миколка, сбежал, не отморозил петуха-то? — спрашивает дед.

Кольке разговаривать не хочется, и он ничего не отвечает.

— О-их! — зевает дед. — И мне надо как-то до ветру сходить. А что, матка, котёл-то вче-

рась робята на лошади увезли? — спрашивает он вдруг у бабушки.

— С чего? На машине дак, — отвечает она.

— А пошто даве говорила заопружило?

— Дак ведь, дед, кобыла Манька — сотона, не лошадь, ходко побежала, вот их и заопружило.

— Тыфу ты, леший тебя унеси, — ругается дед. — Так на чём его увезли-то?

— Ково? — спрашивает бабушка.

— Да котёл-то! — кричит дед.

— Ты чево, дедко, орёшь-то? Не в лесу, разбудишь парня. Мотри, ткну ухватом. На машине-то и увезли...

— Ну, старуха, ну, старая! — дед трясётся от смеха. — Манька-то — машина разе? Ой, не могу, ой, уморила! Юрий Микулин — вот ты кто, старуха!

— Во-во, заржал, как мерин, не упали с печи-то, — ворчит жена. — Разбудил ведь парня.

— Да он и не спит вовсе. Слыхал, Миколка? Бабка у нас кобылу с машиной перепутала.

— Да это ты, дедко, меня совсем запутал. Мишка с Васькой за котлом-то приехали, Васька пиво варить ладит.

— Ну, — согласно кивает дед, — на чём приехали-то?

— Да погоди ты, буде всё по порядку, а то опять запутаешь.

— Ну, давай по порядку, — соглашается дед.

— Так вот приехали на машине, а ты и обрадел. Велел принести бутылку, до одной-то вам, оканным, и не хватило. А тебе, старому, всех больше надо. За столом и уснул. И робят напоил до шаткости. Погрузили они котёл на машину, стали заводить, да не могли — не заводится машина-то. Сходили на телятник, не знаю уж как запрягли лошадь, погрузили котёл на дровни и поехали. Да спреми поехали-то, а там к реке вона какая крутизна. Кричу им: «Придержите, придержите лошадь!» Да пьяным — что пустому месту! Дровни перевернулись. Сердце так и обмерло. Гляжу, котёл катится, а за ним — и Васька с Мишкой, как чурбаки неживые, катятся. А Манька-то, ведьма, уже внизу. Убились, родимые. Стою и причитаю. Докатались мои робятки вместе с котлом до реки, лежат на льду без движения. Я пуще прежнего причитаю. Нет, гляжу, зашевелились, слава тебе господи. А тут и Веня, сосед наш, идёт с работы. Я — к нему конаться: «Венечка, родимый, пособи!» Не отка-

зал. Робят до дому довёл, лошадь на телятник обратно спровадил. Поколдовал чего-то у машины, да и завёл, и повёз их вместе с котлом на машине. Да и ладно. С тобой-то, дедко, всю ночь не спала, слушала, дышишь ли...

— Это ты зря, старуха, я пока поживу, вот кабы ноги ещё поновей маленько пришить, — усмехается дед. — А ты ведь, матка, не сказала мне сначала, что машину-то не могли завести, вот и сбила с толку.

— Баяла я, баяла.

— Фу-ты, леший тебя унеси! Ну, старая, ну...

Дальше Колька уже ничего не слышит. Глаза склеивается сладкая дрёма. Тело вдруг становится невесомым, и он летит, летит куда-то ввысь... Просыпается от громкого возгласа деда:

— Вот шельма рыжая! Миколка, Миколка, беги, глянь!

Колька прыгает с кровати. Дед сидит на лавке у окна и тычет на улицу крючковатым пальцем. На белом снегу около стожка садового се-на крутится рыжая собачка.

— Да не собачка это, — догадывается Колька.

— Дедушка, лиса, да?

— Она. Вишь, как вытанцовывает. Ага, почувяла! Гляди, Миколка.

Лиса встала на задние лапки, потом быстро ткнулась мордочкой в снег по самые уши, выдернула припорошенную снегом мордочку и быстро-быстро заработала передними лапами, только белые фонтаны полетели.

— Ух ты! Во даёт! Чего это она, деда?

— Завтракает, мышку под снегом учуяла. Во-во, гляди, сглотнула уже. Эх, шельма!

Входит в избу бабушка с полным подойником молока.

— Бабушка, лиса, смотри! Смотри! — радостно сообщает ей Колька.

Бабушка не удивляется и даже как-то с испугом смотрит в окно:

— Зверь в деревню пришёл. Не к добру это, не к добру. Батько, сходил бы к Вене... Как они вчера доехали? Может, случилось чево?

— Да ну тебя, старуха, к лешему с твоими приметами, — отмахивается дед. — Курицу на яйцах во сне увидела — не к добру, лиса мышкует — опять не к добру. Чего у тебя и к добру-то?

При этих словах лицо деда вдруг светлеет от какой-то неожиданной мысли. Он снова смотрит в

окно, но уже не с любопытством, а как бы оценивая: стоит или нет начинать задуманное дело.

— А что, matka, — спрашивает у бабушки, — курица-то поправилась, нет?

— Какое, — печально говорит та. — Баяла же, отсеки голову — пропадёт ведь.

— И отсеку севодни же, — дед весело подмигивает Кольке.

— Тащи курицу-то, старуха!

— Да хоть не в избе-то, на мосту буде.

Дед одевается.

— Ну, Миколка, будет у нас севодня и селянка, и приманка. Возьму грех на душу. Убежала рыжая-то?

Коля смотрит в окно. Лисы у стожка не видно. По заснеженной целине тянется к недалёкому лесу аккуратная цепочка следов.

— Убежала, дедушка, убежала.

— Ничего, наведается ещё, — заверяет дед внука и выходит на мост.

Вскоре возвращается в избу. В руках у него обезглавленная курица. Несколько капелек крови падают на половик. Коля зябко дёргает плечами и отворачивается.

— Ты, паря, не гляди. Верно, ни к чему это тебе. Ты, брат Миколка, с первых пелёнок к городскому житью присушен. Да и не каждому эта работёнка по душе, — дед кладёт курицу на шесток — старуха ошпишет, сам продолжает: — Я тоже мальцом-то нос воротил. Тятя позовёт поросёнка подержать за ногу, когда уже с заколото-го шкуру обнимают, я держать-то держу, а норовлюсь не смотреть на кровавое мясо. Так тятя-то как прикрикнет: «Ну ты, такой-рассякой! Баба, что ли?» А то и кутюшку спустит.

— Как это? — не понимая, спрашивает Коля.

— Кутюшку-то? А вот как, — дед легонько стучит по Колиному затылку козонками пальцев. — Ну как, понял?

— Ага, понял, — смеётся внук, — не больно.

— Так я понарошку, а тятя-то взаправду спускал, хоть и не злой был. С расчётом стучал, чтоб, значит, я не боялся этой работы. Сам режешь скотину — копейка лишняя в доме сохранится.

— Хватит, дедко, не дело-то парню говорить. Ну, вот поправилась. Слава тебе. Сейчас вас покормлю. — Бабушка собирает на стол. — С курицей-то потом уж займусь. Ты-то, дедко, чего гостем сидишь? Снимай куфайку, завтракать будем.

— Так я чево давечи на мосту-то у тебя спрашивал? — дед и не думает раздеваться.

— Чево?

— Где капканы-то?

— Не помню я. Может, на повети, может, на бане... Дат нечто, дедко, и выдумал, — сердито отвечает бабушка.

— Ты, старуха, помолчи, не бабье дело, — дед задумчиво скребёт щеку, белая щетина аж трещит под ногтями. — Кажись, осенесь, на бане видел. Пойду погляжу.

— Чего это он? — спрашивает Коля, когда дед исчезает за дверью.

— Из ума старый выжился, лису ладит изловить. Ой, господи, — бабушка плачет. — Хоть бы ты, Коленька, подговаривал его. Видано ли дело! Не к добру это. Помню, в тот день, когда умерла мама, прилетела кукушка на Гришкину берёзу. Вон на ту, — бабушка показывает в окно на огромную берёзу, растущую у соседнего дома. — А маме с утра не здоровилось. Она услышала кукушку-то да и говорит мне: «В дорогу мне пора, Маринушка, собираться, по мою душу птица-то лесная прилетела. Помру, видно, нынче». Я кинулась к ней, уговариваю: «Что ты, что ты, матушка!» А сама плачу. К вечеру и померла, родимая. А то ещё помню: залетел филин к Афонице на сарай. Старушка набожная была, увидела, перекрестилась — да бежать из дома. Пока бегала по деревне, изба-то и запылала. Народ собрался. Да не могли отнять-то, сгорела дотла.

— А почему дом загорелся? — недоумевает Коля. Видел он этого филина в телевизоре. Птица как птица, только глаза большие. А может, он дрессированный был?

Но бабушка не успевает ответить. В дверь громко стучат. Дед, кряхтя, вваливается в избу, связка ржавых железок с грохотом летит на пол.

— А это тебе, Миколка, — дед протягивает Коле широкие охотничьи лыжи.

Не обращая внимания на бабушкино ворчание, развязывает верёвку, которой связаны, как догадался Коля, капканы. Таких больших Колька никогда не видел. Завелась как-то у них в квартире мышка. Папа купил капкан, но тот был совсем маленький, а щёлкал здорово, но мышка так и не попала в него.

— Э, брат Миколка, зверь, он умнее нас с тобой бывает. Вот понюхай, — дед протягивает Коле капкан. — Чем пахнет?

— Да ничем вроде, — признаётся Коля.

— А зверь за версту железо учует. Тут особая сноровка нужна. Я-то больше с ружьишком промышлял. Возни много с капканами-то. Ну, да сам увидишь, — подмигивает он Кольке. — Матка, мне чугуна нужен.

— Не дам, не дам поганить посуду, — протестует бабушка.

— А я тебя и не спрошу, — парирует дед. — Ну-ко, Миколка, сбегай на ломай лапок. У бани, видел, две сосенки растут? Так ты с обеих ломай-то, понял?

— Ага, понял. — Коля одевается и, прихватив лыжи, выскакивает на улицу. Когда он возвращается, чугуна стоит на середине комнаты. Дед кладет в него капканы. Бабушка молча щиплет курицу.

— Ну что, принёс?

Коля протягивает колючие ветки. Дед запикивает их в чугуна, заливает кипятком.

— Зачем это? — удивляется Коля. — Ты что, дедушка, кашу будешь варить, — смеётся, — как солдат из сказки?

— Кашу-малашу, похлебку не нашу. Чуешь, Миколка, какой запах! До чего ядрён, враз железный дух вышибет.

По комнате растекается ароматный смоляной запах. Закрывать глаза — и словно ты в сосновом разомлевшем под солнцем лесу.

Дед закрывает чугуна крышкой и уносит на кухню.

— Дедушка, а когда лису ловить будешь?

— Больно скор, к вечеру-то, может, и насто-рожу. Да ты иди погуляй.

Коле действительно не терпится испробовать лыжи. Он вопросительно смотрит на бабушку.

— Иди, иди, внучок. К обеду только не опаздывай.

Короток зимний день. Кажется, только что солнце было над Гришкиной берёзой, а уже вон где, над лесом. Красный шар напоролся на зубцы остроконечных елей, лопнул. Только одна розовая полоска и осталась. Коле так понравилось кататься на лыжах, что не заметил, как стало смеркаться. Вот уже первая

звёздочка появилась на бледно-синем холодном небе. А когда в ближней избе засветились окна, Коля спохватился: к обеду же обещал...

«Странно, что не светятся окна. Чего это они? Спят, что ли?» — думает Коля, обметая на крыльце валенки. Он на ощупь идёт по коридору, открывает дверь в комнату, подтянувшись, щёлкает выключателем.

— Батько, ты? — спрашивает с печи голос бабушки.

— Не, это я.

— А, внучек! А дедко-то где?

— Не знаю. — Коля недоуменно смотрит на бабушку: чего спрашивает — его же не было дома.

— Захворала я, Коленька, в висках ломит. Суп-то на шестке — ты поешь. Проголодался, поди? Да где же у нас дедко-то, господи?

— А капканы он поставил? — спрашивает Коля.

— Да поставил, будь они неладны. А давеча я послала его за сеном, светло ещё было.

Коля чувствует, как где-то внутри зарождается в нём непонятная тревога.

— А куда дедушка за сеном ушёл?

— Да в сад. В сеновале-то одни объёды остались.

Бабушка, ойкая, слезает с печи. Достает из шкафа карманный фонарик.

— На-ко, Коленька, мигалку да сходи погляди, где он там.

На улице уже совсем темно. Коля идет по дощатым следам. Вдруг видит: около стога сена трепыхается что-то белое. Ему становится страшно.

— Дедушка! Где ты? — кричит он.

— Тут я, Миколка, — слышит в ответ хриплый голос.

Коле хочется вернуться назад, в избу. Ему страшно. Пугает темнота и это белое живое пятно. На глаза навёртываются слёзы. Но он идёт дальше. А когда натывается на деда, сидящего на снегу, рёвет благим матом.

— Да не реви ты, Миколка, живой я, — говорит дед. — Видишь, какая оказия приключилась: хотел лису сымать, да сам попался, — и невесело смеётся.

Обе ноги его зажаты в капканы.

— Ты, Миколка, помоги: жми вот на эту пружину! Да не рукой — ногой наступи. Вот, вот...

Железные челюсти разжались и отпустили

дедушкину ногу. Второй капкан дед уж снимает сам.

— Дедушка, тебе больно? — спрашивает Коля.

— Да нет, кости целы, не на волка и капкан, да и валенки на ногах. Ты, слышь, Миколка, бабке ничего не говори.

Но предупреждения уже напрасны. Из-за угла дома выплывает яркое пятно света. Не дождавись ни старика, ни внука, бабушка зажгла фонарь и сама пошла на поиски. Увидев деда сидящим на снегу, она охает, роняет фонарь, падает перед дедом на колени.

— Батько, родненький, что с тобой? Да живой ли ты?

— Живой, живой. — Дед раздосадован. Оказаться перед собственной старухой в таком дурацком положении... — Эх, старость, память дырявая.

Коля видит, как две искорки скатываются по щекам деда. Он направляет луч фонарика в сторону и обнаруживает, что белое пятно, которого он испугался, — крылья от курицы, привязанные к невысокому колышку.

БРАКОЊЪЕР

— Здравствуй, соседка!

— Здорово, здорово, Марьюшка!

— Что так вынарядилась-то? Гостей ждёшь, что ли?

— Жду, жду. Сын с невесткой должны приехать нынче. Так прямо вся израсстраивалась. Лучше бы и не приезжали в самую-то бескормицу. В огороде ничего неросло пока, луку и того не потолочь, мелкогато перо-то ещё. Обабков¹ в лесу нет. Не пора ещё для обабков-то. Не знаю, чем и кормить родимых.

— Полно-ко, соседка, переживать-то. Старик, поди-ко, рыбы наловил — так рыбников напекёшь....

— Какое, Марьюшка! Не едать, видно, нынче рыбки. Не знаю, что с моим Иваном и приключилось. С весны поносил было. А приходит как-то — вижу, злой, не в себе — и говорит: «Всё, пое-ли рыбки на своем веку, хватит!» Я — к нему: «Что такое, Иван? Что стряслось?» А он: «Ноги моей на реке больше не будет». Я вначале-то не поверила, думаю, сгоряча это он. Так нет. Крючки, лесу эту выбросил, морды² все топором изрубил. Ох, Марьюшка, не знаю, что и думать, поплачу глядячи. Молчун стал, да и сохнет весь. Не водяной ли его испортил?..

Вот такой разговор услышал Николай ранним утром в деревне, куда приехал порыбачить дня на два-три. Бывал он здесь почти каждый год, и неизменным спутником у рыбацкого костра был старик Иван. О нём-то и шёл разговор между соседками. Что-то мудрит старый рыбак?

На стук в дверь никто не ответил. Николай зашёл в избу: чистота кругом, новые половики на полу, вышитое полотенце на зеркале, в рамках пожелтевшие фотографии.

— Здравствуй, хозяин!

Бородатое лицо показалось из-за занавески на печи.

— А, Николай, здорово живёшь!

— А ты что, дядя Ваня, летом на печи кости греешь, заболел?

— Как бы не так! Здравствуй, Коля, — заговорила вошедшая вслед жена старика Дарья. — Я тут извелась вся. Гостей ждём, а ему хоть бы что.

— Замолчи, старая! — прикрикнул Иван на жену. — Да ты садись, Николай, я сейчас.

Он, кряхтя, сполз с печи. Грузно опустился на лавку.

— Старуха, ну-ко собери чего-нибудь!

— Чего собрать-то, чего? Была бы рыба...

— Цыц у меня о рыбе, не видать тебе её больше.

¹ Обабки — грибы.

² Морда, верша — ловушки для рыбы из ивовых прутьев.

— А чего так, дядя Иван? — спросил Николай.

— Да видишь ли, какое дело... Рыбу ловить любил с малолетства. Не жила без рыбы, сам знаешь. Удочками, в верши, в морды... Сеткой, пока запрета сильного не было, порядочных шук брал. Да мелкая-то рыба в моей сетке и не держалась, ячея-то крупная. Мелкота — к чему она? Одни кости. Пусть себе жир нагуливает по тихим омутам да по травнику. Нет, не скажешь про Ваньку — не черпал без разбору, не хапал что не попадёт. А вот записали в браконьеры. Сейгод, когда ход на сорогу был, поставил я верши, как обычно, по заездам. Иду как-то, проверяю. Вынул одну — мелочь. Думаю, выпрыгну обратно в реку. А тут слышу: «Гражданин! Что вы тут делаете?»

Оглянулся: участковый. «Здравствуй, служивый! — перво-наперво говорю. — Как — что делаю? Разуй глаза, вершу вот проверяю». А он: «Нельзя, дед. Браконьерство это называется». — «Да я всю жизнь верши-то ставлю, — отвечаю. — Думаешь, без понятия? Мелочь, видишь, отпускаю — пусть растёт. Где же браконьерство? Спокон веку в наших краях так рыбачат». А он: «Ты, дед, много болтаешь. Давай-ка сюда эту штуковину». Подал я ему вершу, он тут же и разломал её. «Вот так, — говорит, — сидел бы ты дома со старухой». А я: «Ладно, верши не жалко, зачем же только ты, сынок, так со старым человеком разговариваешь?» А он: «Иди-ка, дед, ты отсюда восвояси!» Что делать, пошёл я от греха.

Думал, на том всё и закончилось. Так нет. Через день-другой вызывают в сельсовет. Вот, говорят, бумага на тебя пришла, Иван Степанович, — штраф за незаконный лов рыбы. Говорят мне: «Как же так, дядя Иван? Ветеран, почётный колхозник...»

А что я отвечу? Подал деньги. Может, и впрямь закон нарушил? Только что-то заболело у меня внутри. Три дня носу на улицу не показывал. На четвёртый собрался на реку. Иду. На подходе к Глубокому слышу народ на реке: шум, плеск. Свернул. Смотрю — машина стоит, не наша, не колхозная. Вроде как из райцентра. Около — ни души. Ну, я — кустами к реке. Вижу — сетка перекинута от берега до берега. Аккурат насупротив меня. Ничего сеточка, добротная, сработана умельцем, а может, заводская. А сверху, эдак из-за поворота, и рыбаки показались. Пятерых мужиков насчитал. Тащат бредень по

двое. Остальные по бокам с батогамы воду бучат. Как ближе-то подошли, я и заметил старого знакомого участкового, и ещё одного признал райцентровского начальничка. Ах ты, забодай вас комар! Понимаешь, Николай, так под сердцем и резануло. Вот, думаю, проколю колёса у машины и сообщу куда следует. Да опомнися: куда сообщать-то, раз сама власть здесь вот таким делом занята. Сажу в кустах, зубами скиркаю. Мешок они наклали рыбы-то, всю подчистую забрали, мелочь, не мелочь — всю оклали. Ванька — браконьер? Нет, паря, не был я им. Вся жизнь честно жил и с людьми, и в лесу, на реке дурного ничего не делал.

После этого, понимаешь, прозрел я, что ли... Жаль мне рыбу-то стало, да и всех животов, что летают и ползают, жаль. Не устоять им перед человеком, перед жадностью его. Ястреб аль щука выбирают в добычу больных, слабых: вреда немного, скорее польза. А человек...

Поймаю подъязка, а он смотрит на меня своими круглыми глазищами, в душу смотрит, — и не могу...

Догорает ночной костёр. От остывшей за ночь реки тянет прохладой и особенными водяными запахами речной растительности. Первый утренний ветерок заставил недовольно поморщиться сонную воду. Залепетали прибрежные кусты. Утка осторожно крякнула на ближней старице. Петух вдруг оголтело заголосил в деревне, и сотни чаек поднялись над округой с шумом и криком. Что это? Да ничего особенного. Солнце выглянуло из-за резной кромки леса. Зарождался новый день. В реке плеснула рыбина. Николай направился к удочкам, думая о старом Иване.

«Завтра я его выгашу на рыбалку», — решил он.

Прелесть тёплой летней ночи у рыбацкого костерка, неторопливый говорок речного переката, шелест крыльев таинственных ночных птиц, откровенные разговоры о всякой всячине — не это ли самое главное?

ВАЛЕТКО

Старый мерин Валетко то и дело прядал ушами, прислушивался: не скрипит ли снег под стоптанными валенками конюха Миколы, не шуршит ли сено, пусть затхлое, но всё-таки с чуть уловимым сытным летним запахом? Он шумно втягивал воздух влажными ноздрями. Резко пахло залежавшимся навозом.

В соседней загородке завозилась молодая кобыла. Затрещали доски под отчаянными ударами её копыт, но выдержали. В дальнем углу конюшни жалобно заржали два жеребца. Кони вот уже третьи сутки не видели своего конюха — хозяина. Кормушки давно опустели.

Валетку приходилось и раньше голодать. Обычно это случалось в праздники. Микола напивался в стельку и дня два не показывался на конюшне. Валетко, конечно, не догадывался, по какой причине отсутствовал конюх, но всегда терпеливо ждал. И знал, что рано или поздно откроются ворота и вместе с морозным воздухом влетит в конюшню хрипловатый голос хозяина: «Заждались, соколики! У-ух, стерва! Опять загородку вышибла!» Замахнётся Микола на строптивую кобылу, но не ударит. Он вообще не бьёт лошадей. А кричит, потому что муторно на душе, голова с похмелья трещит по всем швам. Дома он в такие минуты иногда поколачивает женку, но на лошадях никогда злости не срываёт.

Отворит загородки, возьмёт топор-ледоруб и пойдёт к озеру, прорубит, кряхтя, замёрзшую прорубь. Лошади тем временем, томясь от жажды, соберутся около него в кружок. Но Микола сначала выловит из проруби все до одной льдинки, припадёт сам к холодной водице, напьётся, крикнет удовлетворённо. «Но, но, не балуй, всем хватит!» — скажет лошадям, от нетерпения танцующим на льду. Отойдёт в сторону, закурит. Так и ждёт, пока они пьют.

Валетко нестерпимо мучила жажда, а конюх всё не идёт и не идёт... И тогда он решился. Разбежавшись, сколько позволяла загородка,

всей тяжестью навалился на доски. Оглобля, припирающая калитку снаружи, не выдержала, треснула, и он очутился на проходе. Не обращая внимания на взбесившихся жеребцов, подошёл к воротам, попробовал мордой — закрыто. Тогда, повернувшись задом, Валетко начал барабанить по ним копытами и сшиб-таки деревянный завёртыш.

Яркий солнечный день ослепил. Прыгали весёлые искорки по нетронутой снежной целине. Сосульки, словно витые тугие плети, свисали с крыши конюшни. Валетко потянулся к одной мягкими губами, но та сорвалась и со звоном рассыпалась мелкими осколками по мартовскому насту. Он отскочил, взрывая снег. Ни одного следа вокруг, только ворона оставила неряшливую метку, зачем-то спланировав на сугроб. Валетко зобнул холодную белизну, но она не утолила жажды, и, угадав каким-то образом запорошенную тропинку, он побрёл к озеру на водопой. Вода в проруби была покрыта толстой ледяной коркой. Как ни старался Валетко разбить её копытом — не смог. Он устал. Сказывалась трёхдневная голодовка, да и до этого, кроме гнилого сена, редко перепадало чего-нибудь стоящее.

Старый мерин стоял на льду, соображая своими лошадиными мозгами, что же ему делать. Приняв наконец решение, Валетко отряхнулся и напрямик по сугробам побрёл к деревне. Конюх часто его запрягал, и он хорошо помнил Миколу старенький домишко.

Микола с покрасневшим носом (он у него всегда краснеет в таких случаях), реденькой щетиной на морщинистом помятом лице угощал очередного незваного гостя, откупоривая очередную бутылку «Пшеничной». Вдруг под окном жалобно заржала лошадь. Рука с бутылкой дрогнула. Конюх в одной рубахе, спотыкаясь, выскочил на улицу.

— Валетко! Едрит твою!.. — радостно бросился он к мерину. — Стаю сломал, стерво!

Валетко, хотя и не переносил запах водки, преданно ткнулся мордой в плечо Миколы.

— Прости ты меня, Валетко! Ради бога прости дурака старого! Я сейчас, сейчас.

Конюх, зачерпывая в валенки снег, сбродил

³ Зоруд - сушилка.

к зоруду³, надёргал охапку сена, притащил к лошади.

— Ешь, Валетушка, ешь! Эх, стервы! Просил же бригадира послать баб за кормом! Отощали кони совсем на гнилье... Эх, никому вы не нужны, худобы горемычные... Отплясали своё, пережитки прошлого. Больно смотреть на вас, вот и не пошёл на конюшню. Думал, кто из начальства

спохватится... Да где там! Никому до вас нет дела... — оправдывался конюх. — Эх, горе, горе! Что же делать-то? Ты погоди, Валетко. Я оденусь, мы сейчас на ферму поедём, накладем возок сена, пусть-ко кто сунется, погоди...

Микола побежал в избу одеваться. Валетко с наслаждением хрумкал сено, пахнувшее сытным летом.

ЮДИНЫ КОПИЛКИ

Деда Тимофея-Кузнеца (так его все в деревне называли) перестройка застала на семьдесят восьмом годку. Потухший было интерес к политической жизни страны разгорелся в нём вновь, как та самокрутка, с которой он, кажется, никогда не расставался. Магазинных папирос ни в грош не ставил. Курил только махорку. Но привыкшие к тяжёлой работе узловатые пальцы стали плохо слушаться и не могли уже крутить из клочка газеты его любимую козью ножку. Приходилось нанимать «крутильщиков» со стороны. Однажды и я оказался в этой роли в избе у Тимофея-Кузнеца.

— На-ко, наверти! — дед подал мне газету.

Сам он сидел у телевизора и смотрел очередную, как сам выражался, «телеговорильню». Шла передача с участием священника. Вокруг седой головы старика клубился сизый дым, цигарка в руке дымила и потрескивала.

— Тьфу, как атомная бомба, — дед затушил окурок. — Районка она и есть районка. Говорил же старухе: выпиши «Сельскую жизнь»... Так нет, денег всё жалко. А на кой ляд, прости меня господи, деньги-то? На хлеб хватает — и ладно... Вона, к земле так и тянет, к рукам словно гири привязаны. Умрём — зароят, тут не оставят. А там магазинов нету.

Дед выключил телевизор. Вдохнул как-то тяжело, с надрывом.

— Эх, паря, вера?.. Где она, вера-то? Затоптали всё, концов не сыщешь. Народу много, а людей не видно. Послушай-ко, расскажу бывальщину.

Давно это было. Жил в нашей деревне бобылём

мужичок по прозвищу Юдин. Так себе жил. Рыбак был заядлый. А из рыбака какой работник! Часами просиживал с удочками где-нибудь в верховьях Кокшеньги. На выдумки всякие, правда, был горазд. Бывало, плотик смастерит, скалы надерёт, подсветит да и оправит по течению, когда смеркаться начнёт. Идут бабы по воду: глядь — на середине реки огонёк мерцает. Вёдра бросят — и бежать. «Водяной! Водяной!» — орут на всю деревню. И вот надумал он за счёт Бога деньги зарабатывать. Выловил в реке весной брёвнышко: в половодье много проплывает. Вытесал столбик, прибил к нему иконку, а под ней — коробочку с дыркой приладил. Как стемнело, снёс он этот столбик на большак да и закопал на расстани дорог. Пошли бабы в церковь, увидели икону, перекрестились и по копеечке догадались опустить в коробочку, раз Богу угодно. Ехали мужики на мельницу, тоже остановились около столба с иконой, тоже по денежке бросили. В ту пору шибко в Бога-то верили. Каждый у иконы остановится. В сумерках Юдин прокрался к своей «копилке», деньги — в карман. Не один такой столбик поставил за вёсну, за пять вёрст носил на плече.

Прознал про его затею сосед. Предупредил: «Оставь это дело. На вере людской рук не нагреешь. Побойся Бога! Сам пропадёшь». Посмеялся Юдин над словами соседа, а столбы с иконами ставить не бросил.

Раз в сенокосную пору сидел он с удочками на берегу реки да и уснул, уткнувшись в свежескошенную траву. А шли мимо парни Алёха да Антоха — первые заводилы и драчуны в деревне. Решили подшутить над мужиком. Подняли и спящего бросили в реку. Не стало Юдина. Но ещё многие годы стояли на перекрёстках дорог столбы с иконами — «Юдины копилки».

У ОЗЕРА

Сумерки медленно, но неумолимо стирают чёткие очертания осеннего дня. Над тёмными водами таёжного озера поднимается седой туман. В чёрной вершине остроконечной ели зажглась первая звёздочка. А когда занялся костёр, то совсем исчезли дневные ориентиры, растворилась зубчатая линия горизонта, воедино слились земля и небо.

Озеро это зовётся Ермаческое (Ермачиха) и расположено почти в центре одноименного обширного болота. Подойти к воде предоставляет возможность только со стороны сухой гривы, заросшей стройными елями. Они, как маяки, возвышаются над чахлыми болотными сосенками и служат хорошим ориентиром. Здесь вполне комфортно можно устроиться на ночлег, не опасаясь, что твоя «кровать» из еловых лап пропитается болотной влагой.

Гудят уставшие от скитаний по вязким мхам ноги, от мокрой одежды валит пар, поблёскивает воронёный ствол ружья, прислонённого к дереву, на разостланной газете — банка консервов, хлеб. Не улыбнулось нынче охотничье счастье. Зато рюкзак наполнен отборной клюквой-журавликой. А над костром закипает в котелке крепкий ароматный чай, заправленный брусничным листом. Нет лучшего напитка в лесных походах: бодрит, снимает усталость.

Еловые сучья пылают жарко, с треском выбрасывая искры в звёздное небо. На десятки вёрст кругом ни одной человеческой души. Отойдёшь шагов на двадцать — и обнимет тебя тревожная неуютная темень. И таким желанным в этот миг покажется живое трепещущееся пламя костра, что даже испытываешь вдруг первобытное чувство преклонения перед ним.

Звёздная осенняя ночь накрыла болото. На озере ни всплеска, ни звука. Лишь белёсый туман иногда колыхнётся от лёгкого дуновения ветра. Всё замерло в природе. Всё уснуло.

Нет, не жалею, что не удалась нынче охота. И не рюкзак клюквы — главная награда за мытарства по жидким хлябям, а вот этот ночной костёр на берегу лесного озера, звенящая тишина, осен-

нее звёздное небо, одиночество и какое-то щемящее чувство радости-гордости от единения с дикой природой.

Подумалось: быть может, мой далёкий-далёкий пращур вот так же сидел на берегу этого озера. Угрюмое лицо, тяжёлая промокшая одежда из звериных шкур, рогатина, лук, берестяная котомка... Быть может, охота была неудачной, и он едва дотащился до озера. Высек огонь и, когда занялся костёр, склонил к нему косматую голову и кормил с руки в знак благодарности за тепло и свет живое пламя. Над болотом кружил ворон — чёрное крыло, кричал гортанно. Древний охотник косился на вещую птицу и молился своим богам, чтоб ниспослали удачу.

Пришло на ум когда-то вычитанное: вороны — «хранители Британии» и в наше время живут в лондонском Тауэре, на их содержание правительство ассигнует специальные средства. Что уж говорить о тех letech, когда люди верили в магическую силу природы!

А может, наоборот, удачным выдался тот день для древнего охотника, добыл он зверя, птицу, и никакое знамение свыше не предвещало беды. Шурился он на костёр, и улыбка смягчала суровые черты лица зверолова и воина. О чём думал мой далёкий предок? О наступающих холодах, об удачной охоте?.. А может, глядя, как искры уносятся в звёздное небо, о бесконечности и красоте мироздания?.. Звёзды — искры костров истории.

Густо заваренный чай взбодрил меня. Исчезла усталость. Спать не хотелось. Собрал на ладонь хлебные крошки и бессознательно бросил в огонь. И вдруг осенило! Через толщу веков протянулась связующая ниточка, осталось, закрепилось и во мне то чувство благодарности к очагу, дающему тепло, свет и жизнь.

Какого рода-племени был тот древний охотник? Ермачиха... Так и слышится в названии имя славного атамана Ермака. Нет, конечно, первооткрыватели здешних краев никакого отношения к покорителю Сибири не имели. Обширную местность к востоку от Онежского озера в древности новгородские словене, вятичи да кривичи называли Заволочьем. Но и задолго до них край этот лесной был исхожен древними охотниками из племён летописной чуди. В том числе и предками современных

марийцев. «Ер» по-марийски — озеро, «моча» — влага, сырость, болото. Ермачиха — озеро на болоте.

Ночь сдавала позиции неохотно. Сначала чуть забрезжило на востоке: на бледно-алой полоске неба обозначились неровным пунктиром вершины деревьев дальнего леса. Темнота медленно исчезала, уступая место туманному рассвету. С озера потянуло холодной сыростью. Проснувшийся ветер, разогнавшись на болотном просторе, налетел, и зашумели ели над головой. Туман над озером заходил волнами, а когда ярким фонарём над лесом вспыхнуло солнце, исчез. По воде серебряными чешуйками прокатилась мелкая рябь.

Но что это? Словно призраки, миражи, по озеру плыли величавые белые птицы. Лебеди!

Восемь царственных птиц молча скользили по глади таёжного озера. Не передать словами те чувства, что охватили меня в этот миг.

Лебеди заметили и меня, и дымящийся костёр, загготали, но не улетели сразу, а лишь отплыли к дальней озёрной кромке. И только когда собрал я свои пожитки, залил догорающий костёр и собрался в путь, они поднялись на крыло. Проводил я глазами улетающую на юг, на чужбину белую стаю птиц и направился знакомой тропкой на север, к дому.

ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Васькина жена вытолкала их из избы со словами:

— У-у, алкоголики, надоели, катитесь отседова!

Хорошо ещё бутылку и закуску — банку с солёными огурцами — не отобрала.

Васька и Мишка сидели на крыльце Васькиного дома и уговаривали поллитровку по случаю Дня Конституции.

— Вась, а, Вась, когда за козла-то рассчитаешься?

Третьего дня Васькин гончак по кличке Тарзан приволок домой окровавленную козлиную голову.

— Мишаня, вот это первая, — разлил остатки водки, Васька протянул Мишке пустую бутылку и вытащил из рукава тулупчика ещё одну непечатую, — договаривались же за три...

— Так, Вась, Нюрка моя деньги требует. Козёл-то полторы тыщи стоил.

— Обойдётся. Не фиг было выпускать...

— Так с корминой худо, лето нынче сам знаешь какое было: мокреть одна, да и болел я, участок некошеним остался. Вот и выпустили на самопрокорм. Чем мой козёл хуже оленя, живёт же тот в тундре зимой, из-под копыт кормится, недохнет? К тому же моцион полезен для животины.

— Полезен, полезен. Моему псу тоже полезен, — усмехнулся Васька.

Тарзан, словно почуяв, что говорят о нём, выполз из будки, твякнул для порядку и стал кататься по мокрому плотному снегу, елозя спиной. Верная примета, что погода снова испортится.

— Ну вот, опять охота накрылась.

Васька третий день собирался погонять зайчишек, и третий день беспрерывно валил снег. Заяц в такие дни сидит крепко где-нибудь в густом еловом чапыхнике или под выскирем. Ни следка, ни запаха. Ни в жизнь не стронуть косога, сам намаешься и собаку намаешь. Вот только сегодня к обеду немного распогодилось, но, по всему, ненадолго. Тяжёлое белое покрывало накрыло округу. Температура держалась около нуля. С крыши по-весеннему свисали сосульки — опять же верная примета: лето обещает быть дождливым.

— Эх-хе-хе! Ну, Мишаня, давай за наш основной закон и помин твоего козла!

Васька толкнул в бок собутыльника, заклевавшего бы-

ло носом. Выпили. Смеркалось. Луна прищуренным глазом смотрела сквозь всклокоченные брови туч. Пролетали редкие мокрые снежинки.

— Вась, а ты в Москве был? — спросил вдруг Мишка.

— Ну, доводилось...

— Как там, в Москве?

— Не наше плетиво. Москва, Мишаня, это... это... Как другая планета! — Васька ткнул пальцем в потемневшее небо. — А ты чего про Москву-то?

— Да так, хорошо там живут...

— Да не худо. А что жизнь? Вот бросишь шарик от подшипника в тазик, взболтнёшь, покажется он по стенкам и на дно упадет, успокоится. Так и жизнь наша, хоть тут, хоть в Москве, — один конец.

— Не, не скажи, Вася. Там культура, дороги... Как думаешь: прогребут завтра к нашей деревне дорогу? Мне на Погост надо, комбикорм кончается, порося нечем кормить.

— Может, прогребут, а может, и нет. Ты главу нашего поселения спроси.

— Бесполезно. Он как муха на липучке: жужжит чего-то, жужжит — вреда немного и пользы нет. За прошлую зиму только два раза прогребли, и то когда почтальонка главу обматюгала, два раза обматюгала — два раза и прогребли.

— Ладно, Мишаня, на моём каракате съездим, у меня тоже заделье есть на Погосте. Давай по последней — и по домам...

— Вась, а как думаешь, у нас алмазы взаправду есть?

— Дак годов пять назад, помнишь, за деревней геологи бурили. Я спрашивал. Сказали — все признаки налицо.

— Вот бы хоть один найти, — задумчиво произнёс Мишка.

— Хм, как найдёшь — так и потеряешь. Это же достояние державы...

— Вася, Вася! Глянь, вон там... там, за деревней...

Мишка схватился за рукав Васькиного тулупчика. Недопитая бутылка выскользнула из его руки и покатила по ступенькам крыльца.

— Едрит твою через коромысло! Ты чего, гад, делаешь-то? Вот заеду в ухо!

— Да смотри ты! Вон, вон мигают! Чего это, а, Вась?

За деревней, за развалинами колхозного телятника, на поскотине в каком-то определённом порядке передвигались огни: один, два, три, четыре.

— Никак инопланетяне! К нашим алмазам подбираются!

Васька сходил в избу по ружью. Мишке сунул в руки железную лопату.

— А ну, Мишаня, пойдем, пощупаем этих пришельцев.

— Боязно! Вдруг чего с нами сделают или с собой в бездну небесную умыкнут? Может, не надо, Вась?

— Не боись! Они сами боятся, раз по ночам шастают. Пошли! Не посраим родную землю! — Васька для маскировки вывернул тулупчик белым мехом наизнанку. — Держись за мою спиной, Мишаня.

Приятеля побрели по снежной целине к странным огням. Подкрались незамеченными. Пришельцы были заняты разгребанием снега, усердно работая деревянными лопатами. У каждого на голове горел фонарик. Васька ткнул одному стволами двухстволки в спину:

— А ну, покажись, образина инопланетная!

Тот обернулся.

— Ё...пр... ё!!! Лёха? Племяш! Ты, что ли? — Оба опешили и пару минут молча смотрели друг на друга.

— Я, дядя Вася, я. — Глаза Лёхи как-то испуганно забегали из стороны в сторону.

— А ну признавайся, чего вы тут содеваете? — Васька ткнул стволами под ребра племяннику. — Признавайся без хитрости, ты меня знаешь!

— Дядя Вася, мужики... Ну, ну... вот площадку разгребаем.

— Для какой такой надобности у нашей деревни эта площадка?

— Ну, дядя Вася... ну, надо...

— Не нукай, не запряг. Говори! А то дырку сделаю.

— Ладно, скажу, только вы никому. — Лёха обернулся на сотоварищей. Те продолжали истово махать лопатами. — Для вертолёта. Завтра к нам два генерала из Москвы прилетают, из самого Кремля.

— Иди ты! Зачем? — воскликнул Мишка.

— На охоту! — догадался Васька: Лёха работал егерем.

— Да тише вы, мужики, ради бога, никому ни гу-гу.

— А чего так, племяш? Мы бы встретили как полагается, по-русски, хлебом-солью. Ладно, не тушуйся, молчим. Работай, инопланетянин! — Васька похлопал Лёху по плечу. — Пойдём, Мишаня, доглотнём остатчик да и спать.

Солнечный зайчик прокатился по пёстрым домотканым половикам, взобрался на кровать, задержался на миг на носу спящего Васьки. Тот чихнул, проснулся. Прошлёпал к холодильнику. С наслаждением глотнул огуречного рассола.

— Зин, а, Зин, ты где?

Жена не отозвалась. Прошёл в горницу: пусто. Васька вышел на крыльцо.

Снежная целина искрилась под лучами долгожданного солнца. По ней к развалинам телятника тянулась тёмно-синяя борозда, довольно широкая. В поле на расчищенной от снега площадке маячили две фигуры и сверкала металлическими боками пара снегоходов. Над урезом дальнего леса появилась в небе чёрная точка, послышался гул летящего вертолёт. Из развалин телятника к площадке выдвинулась толпа людей.

«Эх, Мишаня, проболтался-таки!» — понял Васька, сбегал в избу, надёрнул тулупчик, валенки и заспешил по натопанной тропе в поле.

Когда лопасти винтокрылой машины замерли, дверца вертолёт открылась, в проёме показалась фигура мужчины в мохнатой шапке с ящиком в руках.

— Здорово, Аркадьич! На! Принимай! — обратился он к подошедшему к вертолёту бородачу в охотничьем костюме и подал ему ящик. Вдруг глаза его округлились, челюсть отвисла.

— Это... это у тебя что за демонстрация?

Аркадьич — районный охотовед Григорий Аркадьевич Хорьков — поставив ящик на снег, обернулся. К вертолёту приближалась разношёрстно одетая толпа — человек десять. Впереди в цветастых полушалках шествовали Зинка — Васькина жена и Нюрка — супружница Мишки. Нюрка держала в руках на богато вышитом рушнике пышный пирог-витушку, увенчанный берестяной солонкой. За ними — Мишка в новенькой фуфайке с обрывком обоев, на котором было начертано фломастером: «Приветствуем до-

рогих московских гостей!» На шее почтальонки Люськи висела фанерка с нарисованным на ней углём кукишем и словами: «Попробуй проживи на мою зарплату!» Над толпой реяла привязанная к суковатому батогу кумачовая тряпица. Замыкал шествие Петрович — бывший учитель физкультуры и по совместительству бывший парторг бывшего колхоза. Он растягивал на всю ширину рук простынку не первой свежести с грязно-жёлтыми пятнами и надписью ядовито-красной краской: «Долой олигархов и казнокрадов! Да здравствует товарищ Сталин!» Зинка с Нюркой в два голоса запели частушку:

*— Я люблю мою столицу,
хороша моя Москва!
И нарядна, и прекрасна,
Вся стоит белым-бела!*

Мохнатая шапка исчезла в железном чреве вертолёт. Оттуда донеслись голоса:

— Товарищи генералы, Иван Павлович, посмотрите, что нам здесь устроили, что делать будем?

— Что за хрень?!

В бортовых иллюминаторах вертолёт на миг показались два довольно упитанных лица московских гостей.

— Может, ну их, этих неандертальцев, полетим к соседям?

— А ну-ка, где этот долбаный охотовед?

В дверях, загораживая весь проём своим породным телом, появился, по-видимому, генерал. Внушительных размеров живот его обтягивал патронташ, на котором висел охотничий нож. Круглая лысая голова была прямо посажена на могучие плечи без всякой шеи.

— А ну, всем смирно стоять, всем бояться! — гаркнул он хорошо поставленным командным голосом.

Мужики вытянулись во фронт: армейская привычка даёт о себе знать. Наступила звенящая тишина. Но тут протиснулся поближе к генералу, едва не запутавшись в простыне, Петрович.

— А вы!.. Вы на нас не кричите, взяли моду кричать. Мы вот знать хотим: чего это вы в своей Москве всё воруете и воруете? У народа ведь воруете. Сталина на вас нет!

— Что?! — Лицо генерала побагровело. — А

ну ты, — ткнул он пальцем в охотоведа, — разберись тут!

— Эй ты, придурок старый, катись отсюда!

Аркадьич толкнул Петровича в спину, тот упал.

— Ты что же, гад, старика обижаешь! — закричали Зинка с Нюркой.

На спину охотоведа обрушился суковатый батог с красной тряпкой. Аркадьич в два прыжка доскочил до снегохода, выхватил из поклажи карабин, передёрнул затвор.

— А ну, расходитесь по домам, дурачье деревенское!

— Нехорошо, Аркадьевич, так с людьми, убери свою пукалку! — Васька ухватился за ствол карабина, отвёл в сторону от людей.

И вдруг раздался выстрел. Пуля взрыла снежный фонтан рядом с шасси вертолёта. Дверца машины захлопнулась.

— Вы что, здесь все чокнутые! — закричал в открытую форточку кабины лётчик и покрутил пальцем у виска. — А ну, всем от винта!

Вертолёт изрыгнул струю чёрного дыма, лопасти начали вращаться, поднимая снежную пыль. Стальная машина поднялась в небо, которое снова затягивали снежные тучи.

Охотовед и Васькин племянник Лёха вскочили на снегоходы.

— Ну, Василий, дождёшься ты у меня лицензии! — крикнул на ходу Аркадьич.

Зинка с Нюркой затянули частушку:

— Я хотела стать москвичкой
И в Москву приехала,
Посмотрела на людей
И назад уехала!

Односельчане потянулись к деревне. На площадке остались Васька с Мишкой.

— Да, Мишаня, сделал же ты козью морду...

— Вась, да я чего? Только Нюрке и сказал...

— Ну, это одинаково что всей волости.

Васька присел на ящик, в котором ласково для слуха чего-то звякнуло. Рука нащупала знакомую округлость бутылки. Лицо его оживилось от какой-то догадки.

— Мишаня, а хочешь я с тобой за козла коньяком рассчитаюсь? Во! Коньяк армянский, восьмилетней выдержки.

В ящике оказалось десять бутылок.

— Давай так. Тебе — пять и мне — пять. Согласен?

— Ага! — обрадовался Мишка. — А эти не вернутся?

— Не-е. Не вернутся. Они же инопланетяне...

Александр Всеволодович СИЛИНСКИЙ

родился в 1957 году в деревне Александровская (Костылиха)

Тарногского района Вологодской области.

Краевед, поэт, прозаик.

Автор книги стихов «Потерянный рай» (2017),

книги прозы «Может, счастье ещё впереди» (2020).

Публиковался в газетах, сборниках, альманахах,

а также в журнале «Север».

Лауреат премии имени Нины Груздевой (2020).

Член Союза журналистов России.

Член Союза писателей России.

